

DOI 10.31250/2618-8619-2021-1(11)-130-146

УДК 316.7

Наталья Борисовна Граматчикова

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук
Уральский гуманитарный институт (УГИ) УрФУ
Екатеринбург, Российская Федерация
ORCID: 0000-0002-2585-7399
E-mail: n.gramatchikova@gmail.com

**«Близнечный миф» озера Нумто:
Казымское восстание в художественной прозе
и эго-документах**

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу коллективной памяти о трагическом событии, которая понимается нами как динамичный социальный процесс с глубокой взаимосвязанностью индивидуальных и коллективных версий (Дж. Олик). Сопоставительный анализ версий официального позднесоветского и постсоветского нарративов о Казымском восстании (1932–1934) в художественно-документальной прозе обнаруживает зеркальное подобие стержневых образов. Очерки М. Е. Бударина «Были о чекистах» (1960–1980) участвуют в формировании коллективной профессиональной памяти «победителей», транслируемой в качестве общепринятой. Роман Е. Айпина «Божья мать в кровавых снегах» (1996–1999), позиционируемый автором как голос памяти повстанцев-северян, представляет собой постсоветское и постколониальное переосмысление большинства основных образов, мотивов и оппозиций «чекистского эпоса». Магистральные тексты Бударина и Айпина с контрнарративами «войны памяти» о Казымском восстании анализируются в качестве мифологизированных версий-«близнецов». Кратко определяется место кинематографических интерпретаций этих событий в культурной памяти об урало-сибирских восстаниях (О. Фесенко «Красный лед», 2013; А. Федорченко «Ангелы революции», 2014). В качестве ресурса, увеличивающего многообразие интерпретации событий на Нумто, рассматриваются эго-документы 1930-х годов, в частности воспоминания Л. Н. Астраханцевой, вдовы погибшего на Нумто председателя Березовского райисполкома Уральской области. Впервые анализируемые как нарратив, воспоминания 1934 г. позволяют расширить знание об акторах эпохи, а также ввести в исследовательское поле проблему жертв среди «победителей», усложняющую современное видение истории советского «освоения» Севера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коллективная память, эго-документы, воспоминания, Казымское восстание, Е. Айпин, М. Е. Бударин, Л. Н. Астраханцева

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Граматчикова Н. Б. «Близнечный миф» озера Нумто: Казымское восстание в художественной прозе и эго-документах. *Кунсткамера*. 2021. 1(11): 130–146.

doi 10.31250/2618-8619-2021-1(11)-130–146

Natalia Gramatchikova

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences;
Ural Institute of Humanities of the Ural Federal University
Ekaterinburg, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-2585-7399
E-mail: n.gramatchikova@gmail.com

The “Twin Myth” of Lake Numto: Kazym Uprising in Fiction and Ego-Documents

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the collective memory of a tragic event. Following Jeffrey K. Olick, I understand it as a dynamic social process with a deep interconnection between individual and collective versions. A comparative analysis of the official Soviet and post-Soviet narratives about the Kazym uprising (1932–1934) in fictional and documentary prose reveals a mirror image of the core items. Essays by M. E. Budarin entitled *Legends about the Chekists* (1960–1980) contribute to the formation of the collective professional memory of the “winners”. The novel *The Mother of God in the Bloody Snows* by E. Aipin (1996–1999), positioned by the author as the voice of memory of the rebel northerners, is a post-Soviet and post-colonial rewriting of most of the main images, motives and oppositions of the “Chekist Epic”. The article analyzes these mainstream texts, where counter-narratives of the “memory wars” develop, as mythologized versions of the “twin myth”. The author considers the ego-documents of the 1930s, i.a. the memoirs of L. N. Astrakhanseva, the widow of a communist who was killed at Numto, as a resource that increases the variety of interpretation models for this event. These memories of 1934 expand our knowledge about the actors of that time in the field of family history, as well as raise the problem of victims among the “winners”. All of this complicates the modern vision of the history of the Soviet “development” of the North.

KEYWORDS: collective memory, ego-documents, memories, Kazym uprising, E. Aipin, M. Budarin, L. Astrakhanseva

FOR CITATION: Gramatchikova N. The “Twin Myth” of Lake Numto: Kazym Uprising in Fiction and Ego-Documents. *Kunstkamera*. 2021. 1(11): 130–146. (In Russian). doi 10.31250/2618-8619-2021-1(11)-130-146

ВВЕДЕНИЕ:
КАЗЫМСКОЕ ВОССТАНИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

События, разворачивавшиеся вокруг озера Нумто с конца 1931 г. по начало 1934 г., вошли в советскую историографию как Казымский мятеж, в постсоветскую — как Казымское восстание, и были первым крупным эпизодом в цепи урало-сибирских выступлений северных народов (ханты, коми, ненцев) против насильственной советской аккультурации рубежа 1920–1930-х годов (Головнёв 1995; Тимофеев 1995; 2007; Леэте 2004; Ерныхова 2010). Форпостом этой политики стала Казымская культбаза (место кочевья казымских хантов, соседствовавших на востоке, близ озера Нумто, с ненцами), построенная силами местного населения и спецпереселенцев и к концу 1931 г. насчитывавшая 37 штатных работников и 14 построек, среди которых больница, школа-интернат, дом народов севера, ветеринарный пункт, банно-прачечная, склады, овощехранилище, ледник, кухня, три жилых дома и небольшая электростанция. Координирование работы базы было возложено на представительный орган государственной власти — Казымский туземный (районный) совет, образованный в 1926 г. с центром в селе Полноват. Работники культбазы занимались организацией праздников и культмассовых мероприятий, вели просветительские беседы о необходимости санитарии тела и жилья.

С любопытством приглядывавшиеся к строительству северяне не спешили вовлекаться в новые для них модели, а форсированный набор учащихся и вовсе настроил тундровиков резко отрицательно. Власть пыталась арестами «кулаков» сместить местные родовые авторитеты, но ее неумолимая политика в отношении включения в промысловый оборот священных мест, таких как озеро Нумто («Божье / Небесное озеро»), заставила объединиться хантов и ненцев для защиты святынь. Ряд роковых ошибок, допущенных местной властью, привел к эскалации конфликта. В результате бригада из пяти коммунистов (среди них одна женщина), посланная на переговоры с повстанцами в конце 1933 г., была захвачена и после камлания ритуальным образом принесена в жертву.

В подавлении восстания принимали активное участие местные и областные сотрудники ОГПУ и партработники. Идейные вдохновители были убиты, полсотни участников осуждены и не реабилитированы до сих пор. Эхо памяти восстания оказалось долгим и парадоксальным образом богатым художественно в силу экзотических обстоятельств убийства. Удаленность места действия даже от столицы Уральской области Свердловска, суровые природные условия, «дикость» участников и монолитность официальной позиции привели к тому, что история Казымского мятежа подверглась мифологизации как со стороны «победителей», так и со стороны кочевников-тундровиков. За исключением специфического взаимодействия в рамках столкновений и судебного процесса общего нарратива о произошедшем не сложилось. Материалы допросов были исключены из поля публичной истории до последних десятилетий, а устная память северян, равно как и немногочисленные эго-документы «победившей» стороны, бытовали в их семейном кругу (Перевалова 2009; 2016; Ерныхова 2017).

Повествования о Казымском восстании позволяют исследовать разнообразие способов изображения конфликтных исторических событий в текстах различного статуса художественности/документальности. Иначе говоря, если воспользоваться методологией Дж. К. Олика, рассмотреть этапы формирования коллективной памяти о восстании, понимаемой как непрерывный процесс, в котором событие вспоминается «социальными объектами как социальными существами, живущими в социальном контексте» («Память — это не вещь...» 2018: 13–14). В советское время художественные тексты о восстаниях, тем более о восстаниях на «экзотических окраинах», были единственным доступным массовому читателю историко-этнографическим источником по этой теме. Постсоветские тексты о тех же событиях формируются в логике «восстановления справедливости» и развития постколониальных тенденций, так же апеллируя к архивным документам.

Итак, предмет нашего исследования — формирование и трансляция коллективной памяти о Казымском восстании в советской очеркистике на материале книг М. Е. Бударина (1960–1980 гг.)

и в художественной «альтернативной версии» — романе Е. Айпина «Божья мать в кровавых снегах» (1996–1999). Какой образ восстания оказался возможен в советской историографии? Насколько радикально *другую* память о нем демонстрирует роман хантыйского писателя? И наконец, что нового привносят в поле публичной истории ставшие доступными онлайн эго-документы? Проблемы пределов реконструкции хода восстания, равно как и степень достоверности изложенного, останутся вне поля нашего рассмотрения. Мы сосредоточим внимание на системе художественных образов, мотивов и персонажей произведений, создающих образ события, который оказывается способен к дальнейшей трансляции внутри формируемой таким образом коллективной памяти и оснащен элементами легитимации, под которыми мы понимаем устойчивые ценностные оппозиции в изображении события, поясняющие, оправдывающие и закрепляющие его образ в рамках избранного автором дискурса (об этих аспектах исследований как характерной черте *memory studies* см.: Нечаева 2020: 49).

«БЫЛИ О ЧЕКИСТАХ» М. БУДАРИНА

«Чекистский эпос» омского партийного историка и писателя-краеведа М. Е. Бударина (1920–2003) — характерный пример того, каким образом персонажи восстаний и мятежей 1930-х годов могли быть вписаны в официальный исторический нарратив, возможности которого в отношении освещения подобных событий были крайне ограничены, поскольку предполагали признание выступлений против советской власти спустя 10–15 лет после ее официального триумфа. М. Бударину это удалось: глава о Казымском восстании — «След в тундре» — включена во все переиздания его *былей* (Бударин 1968; 1976; 1987), при этом текст очерка неизменен с 1968 г. В появлении текста в конце 1960-х и его последующей циркуляции в неизменной форме сопряжены несколько тенденций. С одной стороны, сам факт восстания в официальном нарративе допустим к упоминанию лишь в логике «догорающих искр» Гражданской войны. С другой — конец 1960-х — знаковое время коррекции официального исторического нарратива: 50-летие октябрьской революции воспринималось как своеобразная «точка невозврата», позволяющая дополнить монолит официальной позиции индивидуальными/локальными нарративами, рожденными уже внутри идеологически верных шаблонов памятования. Однако неготовность к подлинному разнообразию ресурсов памяти приводили к почти моментальному «затверждению» одобренного текста, пересоздающего событие на языке власти (Юрчак 2014)¹: единожды описанное становилось симулякром, не подверженным коррозии до истощения питающей его идеологии².

Популярность произведений М. Е. Бударина позволяет прочесть его *были о чекистах* как образец массовой литературы своего времени с понятной ролевой раскладкой, преемственностью с идеологией 1930-х годов и специфической романтизацией главных героев. Очерки Бударина представляют собой профессионально-корпоративную версию нарратива восстаниях, памятью жанра связанную с историко-революционным романом 1930–1950-х годов. Среди важнейших функций последнего исследователи отмечают его «важную роль в процессе индоктринации советского варианта истории», просветительство, соединенное с нормированием, а также «символическое выравнивание государственного центра и периферии», заключающееся в создании единой истории, «подчеркивающей общность процесса в “центре” и “на местах”, в том числе и на так называемых национальных окраинах» (Лимерова, Литовская 2016: 43). Для удачного сочетания

¹ Как показывает А. Юрчак, официальный советский дискурс мыслится не сотворенным, а прямо отражающим действительность, поэтому его каноничность (событие может быть описано только так, и никак иначе) проявляется и на уровне отдельных текстов одного автора, не считающего возможным корректировать созданное однажды (Юрчак 2014).

² Поэтика названий книг Бударина постепенно теряет метки региональности, устремляясь к абстрактному: «Были о сибирских чекистах» (1968) — «Были о чекистах» (1976) — «Чекисты» (1987). Обращения к читателю меняются в более жесткую сторону, обретая к 1986 г. ритуально-агональную риторику: «С первых дней своего существования советская страна столкнулась с ожесточенной яростью многочисленных и могущественных врагов. Требовались особые меры, государственные органы, чтобы пресечь тайные и явные их происки» (Бударин 1986: 5).

беллетристического изложения, идеологически верного наполнения и искреннего лиризма Бударин использует несколько ресурсов, среди которых и его собственная семейная и личная история³.

Эмоциональным камертоном литературного «приношения» становятся эпиграфы из стихотворений И. Уткина и Я. Смелякова. Между стихами Уткина и Смелякова десятилетия, но они содержат перекликающийся образ «людей-шпал» (тех, «что легли как шпалы, под наш железный путь»), развивая логику знаменитой «Баллады о гвоздях» Н. Тихонова (1919). Я. Смеляков конструирует романтический образ «командармов Гражданской» (1966): *В петлицах шпалы боевые / За легендарные дела / По этим шпалам вся Россия, / Как поезд медленно прошла* (Бударин 1976: 11). Важно, что история спецслужб таким образом отождествляется с историей России, а профессиональная коллективная память разрастается до общегосударственной.

Научная и творческая биография М. Бударина показывает, насколько органичным в советской историографии оказывалось соединение научно-исторического, публицистического и беллетристически краеведческого подходов к изложению событий⁴, позволяющее создать устойчивый, понятный и закреплённый научным авторитетом исторический нарратив, переиздававшийся каждое десятилетие. Несмотря на заявленный жанр документально-художественных очерков (Бударин 1976: 11), подлинная цель текстов — не реконструкция событий. Героизация, романтизация и лиризация деятельности чекистов средствами очерковой прозы — вот актуальная для автора задача. Чекисты Бударина — технически оснащенные посланники «нового мира» (в очерках вся техника, от биплана до велосипеда, принадлежит им). Однако их образы не слишком выразительны: неумолимая логика «невидимых героев» противодействует задуманной адресной авторской благодарности, делая ее возможной лишь для коллективного героя⁵.

Сторона «врагов» подана гораздо эффектнее. Очерки о кулацких восстаниях предваряются внешней идеологической рамкой советского метатекста — высказыванием Ленина о кулаках как о «самых грубых, самых зверских, самых диких эксплуататорах» (Бударин 1976: 280), после которого дальнейшая дегуманизация врага неизбежна и не ограничена. «След в тундре» тесно связан с предшествующим очерком «Волчье эхо», рассказывающим об истории многолетнего поиска в тайге двух кулаков — отца и сына Дрикусов. Поэтика «врагов» монолитна: они чужие во всем, от имен до невероятной силы и витальности. Новая власть пронесется над заповедными озерами на «легкокрылом биплане», враги таятся в «лесистом и заболоченном междуречье». Их спутники — медведи и волки — наделены амбивалентной функциональностью: с одной стороны, это своеобразные двойники тех, кто вынужден скрываться от человеческого общества, с другой — именно «лесной хирург» — медведь до неузнаваемости уродует лицо одного из «бандитов», затрудняя его опознание и поимку. Кулаки в очерках Бударина лживы, лицемерны, жестоки и вместе с тем привязаны к своему месту, возвращаясь в родные места даже из-за границы. Их противостояние советской власти экзистенциализировано: «...Столкнулись две силы. Дрикус разваливал

³ Отец М. Бударина был в 1920-е годы членом коммуны, позднее служил в ишимской милиции (Бычков 2017: 208). Сам Бударин первый профессиональный опыт получил в ишимской газете «Серп и молот». Биографы Бударина приводят его слова о том, что наибольшее влияние на него оказали профессора М. В. Нечкина и «К. А. Попов, известный в прошлом революционный деятель, участник допроса адмирала Колчака в Иркутске, бывший председатель Омского губисполкома, один из руководителей Института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б)» (Бычков 2017: 208). Таким образом, Бударин чувствовал живую преемственность с героями своих очерков, выделяя С. Г. Чудновского, который «допрашивал и расстреливал Колчака» (Бударин 1976: 8).

⁴ Бударин позиционирует себя именно как историк, ссылаясь на свои книги: «Прошлое и настоящее народов Северо-Западной Сибири» (1952), «Путь малых народов Севера к коммунизму» (1968). На сегодняшний день внутри омского научного сообщества сформировалась оценка деятельности М. Е. Бударина: уважение к нему как к основателю местной исторической школы сопряжено с пониманием абсолютной принадлежности советской историографической школе, оправдывающей своими исследованиями «цели и действия и результаты советской власти» (Каргаполов 2011: 51; Бычков 2017: 51).

⁵ Среди коммунистов очерка есть герои-жертвы (коммунист Астраханцев) и герои-победители (чекисты Чудновский и Здоровцев). Относительно трех руководителей карательной операции, сложивших головы через несколько лет после описываемых событий в тундре, Бударин реализует разные стратегии: у С. И. Здоровцева, начальника Обь-Иртышского управления ОГПУ, он приводит послужной список; расстрелянный С. Г. Чудновский списком не наделен, но упомянут в предисловии (он реабилитирован в 1957 г.), а Булатов (предположительно, Дмитрий Александрович (1889–1941), первый секретарь Омского областного комитета ВКП(б) с декабря 1934 г.), арестованный в 1938 г. и расстрелянный в октябре 1941 г., даже не назван по фамилии. За помощь в поиске предполагаемой кандидатуры благодарю Сергея Степановича Агеева, сотрудника музея истории Уралмашзавода.

колхоз. Коммунист Морозов укреплял его» (Бударин 1976: 282); «Крепла культбаза — росла злоба врагов» (Бударин 1976: 296). Вследствие этого очерк Бударина — это не столько история восстания, сколько история его разгрома: не «история болезни», а описание «хирургической операции», где послесловие диверсифицирует память о героях и жертвах восстания, а память о судьбах побежденных исключена из нарратива (Бударин 1976: 309).

Текст очерка Бударина концентрируется вокруг финальных эпизодов истории мятежа, связанных с прямым противостоянием ОГПУ и повстанцев. Предыстория конфликта намечена лишь пунктирно, поскольку изложение подчинено логике экзистенциального агона, не нуждающегося в дополнительной каузальности. Очерк не столько проясняет причины и подробности «страшного преступления» «шайки кулаков и шаманов», сколько мастерски воспроизводит систему умолчаний при точном следовании основным оппозициям официального дискурса (свои — чужие, тогда — сейчас). Причины восстания в официальной пропагандистской логике не могут быть не только осмыслены, но даже названы (хотя Бударин упоминает «так называемые святые места»)⁶. Ход операции описан целиком с точки зрения «органов»: композиционная завязка приходится на разговор руководителей — С. Г. Чудновского и И. Д. Кабакова в Уральском обкоме партии. Всевидящее око власти в очерке принадлежит С. В. Здоровцеву⁷, по телеграммам разгадывающему коварство «перебежчика» Спиридонова, которому удается провести Чудновского. Чудновский, доверившийся разыгранному Спиридоновым спектаклю, размещается уровнем ниже⁸.

Любое протестное движение в 1930-е годы мыслится как продолжение Гражданской войны. Как следствие, присутствие «белых» (или следов их деятельности) в конфликте практически неизбежно. Так в историографии восстания закрепляется сюжет о «белом офицере» и колчаковцах, скрывающихся в тундре под видом оленеводов, поддерживаемый обеими сторонами конфликта (Бударин 1976: 291, 301). Мотивы ожиданий и слухов, обнаруживающие художественно-мифологическую природу основной сюжетной линии очерков, получают развитие в сцене обсуждения плаката с изображением Климента Ворошилова в белом кителе, демонстрирующего боевую мощь страны. У Бударина тундровики, не узнав «народного героя», видят в плакате подтверждение того, что это в «боевой летней малице» «с верховий Иртыша и Оби идет белый начальник. А за ним плывут к нам на Север двадцать пароходов с солдатами и пушками» (Бударин 1976: 302).

Кроме оппозиции своих и врагов, в очерке Бударина воспроизведен весь классический для соцреалистического канона расклад ролей: жертва доверия (Астраханцев)⁹, «хороший местный» (чекист-ханты Посохов), «плохой местный» (предатель Спиридонов), прозорливый начальник (Здоровцев) и женщина («соратник Ленина» П. Шнейдер).

⁶ Причины восстания вызревали в течение нескольких лет и были заявлены письменно, однако в советской историографии конфликт вокруг священной для местных народов территории трактуется обычным образом: «На путях паломничества одурманенных религией хантов, ненцев к этим местам и выросла Казымская культбаза — форпост культуры и новой жизни в глухом лесотундровом крае» (Бударин 1976: 296). Участие в противостоянии авторитетных представителей родов подано как «наглые ультимативные требования к советским властям» богатеев: «не учить детей в школах, ликвидировать Совет на Казыме, восстановить в избирательных правах всех кулаков, убрать все фактории из тундры» (Бударин 1976: 296–297), а отчаянная попытка вернуть собственных детей в семью выглядит похищением государственной собственности: «Шаманы и кулаки совершили вооруженный налет на школу культбазы и в одну из зимних ночей увезли из интерната в тундру несколько десятков детей» (Бударин 1976: 297).

⁷ Одним из предъявленных позднее обвинений С. В. Здоровцеву (1889–1940) была «попытка сохранения повстанческих кадров» после Казымского восстания, поскольку он добился амнистирования хантов и ненцев, не принимавших активного участия в мятеже. Здоровцев умер, уже будучи освобожден из-под ареста за недоказанностью обвинений. См.: Виртуальный музей ГУЛАГа: <http://gulagmuseum.org/showObject.do?object=55300112&language=1> (дата обращения: 06.02.2021).

⁸ Диалог Спиридонова и Чудновского по поводу ультиматума повстанцам дает раскладку ролей, мало соответствующую иерархии и характерам персонажей, но отсылающую к сюжету о лукавом плуте: ««Ай-товарищ Чудновский», — взволнованно выкрикивал Спиридонов в Совете. — Что наделали варнаки-шаманы! Прямо беда! Они же убьют Астраханцева и всех его людей! У меня душа болит — прямо плачет. Пиши! — вдруг требовательно сказал он, остановившись перед Чудновским. — Что писать? — спросил гость. — Пиши сердитую бумагу ненцем-кулакам и шаманам на озеро Нум-то. Пусть вернут бригаду Астраханцева» (Бударин 1976: 297).

⁹ Накануне отъезда в тундру Астраханцев категорически запрещает Посохову брать винтовки на переговоры: «Это ведь отсталые, полупервобытные люди. К тому же обманутые. Доверчивы они и наивны, как дети» (Бударин 1976: 303). Об этом разговоре упоминает и Л. Н. Астраханцева.

Центральной жертвенной фигурой у Бударина становится Петр Васильевич Астраханцев (1892–1934), председатель Березовского райисполкома Уральской области. Супруги Астраханцевы (Петр Васильевич и Лидия Николаевна) возвращаются из отпуска в Березове перед самым ледоставом, спеша домой, к дочерям Свете и Норе. Астраханцевы — создатели того мира, против которого ополчились шаманы («Петр Васильевич строил Казымскую культбазу, а Лидия Николаевна работала в больнице базы фельдшером и акушеркой» [Бударин 1976: 296]). «Подкулачник» Спиридонов обладает обманчиво представительной внешностью и хорошим уровнем русского (здесь сам язык становится слугой «неблагодарного предателя»). Спиридонову противостоит «хороший местный» — «первый чекист из народов Севера» Захар Никифорович Посохов (1899–1934)¹⁰. Образ Посохова подтверждает у Бударина эффективность прошлой и нынешней политики на Севере, для него и русский язык становится благим даром.

В финале очерка, в преддверии кровавой развязки (детали которой Бударин опускает), противостояние переносится в высшие сферы: жертвоприношение 14 белых оленей сопровождается «колдовством двух шаманов» (ханты Ефима Вандымова и ненца Атлета) (Бударин 1976: 304), разрабатывается полномасштабная военная операция, настоящий руководитель которой — тот самый «колчаковский офицер в белой боевой малице». Таким образом, восстание и его подавление рисуются как процесс с двумя центрами принятия решений: «кулаки-шаманы» и начальство ОГПУ (Здоровцев). Здоровцев «анализирует события по радиограммам Чудновского», разгадывает «дьявольскую игру Спиридонова», присылает аэроплан, который доставляет из стойбища двух «языков» и раскрывает правду об убийстве пленников. Таким образом, «схватка титанов» наверху реализуется внизу через систему заложников. О вооруженном столкновении отряда ОГПУ и восставших Бударин умалчивает, однако фамилии трех погибших в этом бою чекистов упомянуты в конце очерка¹¹, а жертв со стороны повстанцев у Бударина нет. Очерк завершается «тризной» — состоявшимися 4 марта 1934 г.¹² похоронами восьми погибших «от рук кулацко-шаманской банды» и утверждением памяти о героях.

Во второй половине 1960-х годов, когда Бударин работал над своими очерками, в стране активизировались процессы по сбору индивидуальных воспоминаний участников исторических событий, дошедшие и до районов Севера. На сегодняшний день нам известны четыре текста позднесоветской фиксации¹³, показывающие, насколько высока степень влияния официального нарратива на индивидуальный. В записанных пионерами воспоминаниях очевидцев дискурс власти настолько силен, что говорить об индивидуальных версиях события со стороны «победителей» можно не во всех случаях. Тем более важным становится понимание того, каким образом конструировался официальный образ восстания.

Бударин создал беллетристически увлекательную, упрощенную и понятную «чекистскую» (а значит, и государственную) версию Казымского восстания. Мир его очерков размечен архаическими оппозициями, важными для мифологического мышления. Противоборство сторон подано буквально «с высоты полета биплана», напоминая шахматную партию более, нежели «полевую операцию». Участники конфликта наделены устойчивыми масочными характеристиками, позволяя читателю без сюрпризов скользить по фактографии *былей о чекистах*. Кроме того, это монолитный мужской мир, гендерная гомогенность которого выше идеологической: обе стороны конфликта лишены женских образов¹⁴. Очерки позволяют не столько погрузиться в местные реалии, сколько

¹⁰ З. Н. Посохов происходил из семьи бедного рыбака, член партии с 1930 г., учился на курсах при школе ОГПУ в Свердловске. В 1933 г. назначен помощником уполномоченного ОГПУ в Березовском районе. Арестован и доставлен по р. Казым в Березово тех самых четырех кулаков-«богачей» (Бударин 1976: 299–200; Ерныхова 2010: 62).

¹¹ На основании текста очерка невозможно понять, откуда взялись еще три жертвы. Обстоятельства этого боя нуждаются в глубокой проверке (особенно если обратиться к дневнику И. Шишлина [Агеев 2005]), однако эта проблематика выходит за пределы статьи.

¹² Л. Н. Астраханцева приводит дату 5 марта 1934 г. (Астраханцева 1934: 9).

¹³ В фондах Березовского историко-краеведческого музея хранятся воспоминания В. П. Попова и Г. И. Хрушкова, записанные Советом дружины Казымской восьмилетней школы в 1979 г. (Ерныхова 2017: 146), а также собственноручно изложенные воспоминания Г. М. Бабикова и И. А. Карелина (более поздние).

¹⁴ Точнее, есть по одной жертве-женщине, однако убийство Полины Шнайдер подтверждает всю низость «кулаков», тогда как гибель ненки — участницы перестрелки проходит незамеченной.

разнообразить досуг идеологически верными декорациями столкновений добра со злом, обреченных, но исторически нескончаемых.

«БОЖЬЯ МАТЕРЬ В КРОВАВЫХ СНЕГАХ» Е. АЙПИНА

В начале 1990-х в поле публичной истории появляются устная и семейная формы памяти потомков повстанцев. Историки и этнологи работают над созданием комплексной версии события, литературно оформленным голосом «иной правды» становится русскоязычный роман писателя-ханты Еремея Айпина «Божья мать в кровавых снегах» (1996–1999), оказавший влияние на кинематографические интерпретации О. Фесенко и А. Федорченко.

Роман Айпина представляет собой художественное высказывание, родившееся в момент смены идеологической парадигмы, который совпал со средним возрастом художника. Некоторые исследователи склонны рассматривать его как реконструкцию мифического прошлого народов Севера, где «писатель уходит от принципов реализма, множества бытовых частных и исторической достоверности» (Ершов 2015: 167). Сосредоточимся на структуре романа, которая удивительным образом зеркальна по отношению к советскому нарративу о восстании.

Как и у Бударина, рамка интерпретации «Божьей матери» представлена в прологе, где заданы все значимые аксиологические оппозиции романа и безопасная временная дистанция высказывания о переполнившей чашу терпения северян осквернении «святая святых» — острова посреди «Божьего озера». Открыто публицистичный пролог описывает историю Севера как историю изначального неприятия советской власти: «Остяки терпели советскую власть ровно семнадцать лет» (Айпин 2010: 5). Защита святых мест у Айпина вбирает в себя (и подменяет собой) все остальные его причины (экономические, человеческие и др.). Традиционный уклад жизни мыслится как красивый, жизнеспособный и разумный во всех деталях благодаря гармоничной вписанности его в сложную систему мироздания. Последовательно заменяя в риторике повстанцев «советских» и «русских» на «красных», Айпин-писатель смещает постколониальный конфликт к логике гражданской войны на северных территориях.

Как и очерк Бударина, пролог романа Айпина начинается с момента финального противостояния: остяки сделали на озере ледяную крепость и разбили первый отряд красных, требуя освободить «четыре ранее арестованных духовных вождя народа» (Айпин 2010: 6). Страх перед повторением мятежа 1921 г. заставляет «красную власть» преследовать восставших, уничтожая людей, забирая оружие и оленей. Враги у Айпина архаизированы и расчеловечены: им принадлежит либо всевидящее око аэроплана, либо зверская жестокость рукопашной расправы: «Впереди красных отрядов шла весть “Красные листовичными дубинами забивают восставших остяков”». Сам собой напрашивался вывод, что живыми в лапы красных лучше не попадаться. И там, где прошли их войска, белые снега Севера стали красными» (Айпин 2010: 6)¹⁵. Идеологически противопоставленные тексты Айпина и Бударина в художественном смысле обнаруживают глубинную одноприродность, истоками своими восходящую к длительному и успешному профессиональному опыту советского писательства¹⁶.

Обозначим некоторые позиции из взаимно зеркальных систем знаков и уникальные мотивы этих «близнечных» мифологических систем. Как мифологические близнецы вместе пускаются в путь, обнаруживая свою разноприродность в каждом шаге-выборе, начало романа Айпина восходит к кольцевому мотиву советской историографии восстания — похоронам погибших «жертв

¹⁵ Листовичные дубины как образ используются обеими сторонами конфликта, занимая в их художественных системах разные позиции. Избиение пленных русских деревянными стягами есть в воспоминаниях о восстании Г. И. Бабинова (1979). У Айпина это орудие убийства безоружных становится лейтмотивом присутствия красных на северных землях. Отметим также, что у Айпина, сопроводившего роман фрагментами следственного дела, нет упоминания о самом факте убийства делегации коммунистов. Художественный мир эстетически и аксиологически отторгает это реально произошедшее деяние северян, приписывая жестокость только стороне врагов. Финал, в котором Мать Детей встает на тропу мщения, оказывается лишь естественным следствием пережитого ею опустошающего горя и сущностно равносильна (само)убийству.

¹⁶ Карьера Е. Айпина (1948 г.р.) как литератора, политического и общественного деятеля все советское время складывалась весьма успешно и была бы невозможна без его таланта публициста.

восстания». Однако если советский нарратив на этом заканчивается (судьбы побежденных в него не входят), то для героини Айпина с похорон сына и мужа лишь начинается длинная дорога утрат, закончившаяся гибелью большой остяцкой семьи. Читатель погружается в мир традиционной культуры кочевников в траурные дни бдения по погибшим обитателям чума и следует затем за Матерью Детей в попытках спасти потомство от неумолимых карателей. Таким образом, роман может быть прочитан как величественная и траурная кода, разворачивающаяся в последовательности, обратной логике вышедшего в те же годы вестерна-притчи Дж. Джармуша «Мертвец» (1995), герой которого по мере приближения к смерти становится все ближе к себе истинному, тогда как персонажи Айпина изначально наделены всеми мыслимыми совершенствами¹⁷.

Мир мужского противостояния очерка Бударина сменяется своей гендерной противоположностью у Айпина. Главная роль героини, подчеркнутая именованием (Мать Детей), переводит повествование в мифологический художественный пласт. Такой выбор делает художественное высказывание Айпина практически неуязвимым для этически сенситивной критики, героиня принадлежит нескольким доминируемым категориям сразу: она остячка, женщина, представительница стороны побежденных и мать, спасающая детей¹⁸.

Трагедия войны, развязанной в тундре красными, — внешняя по отношению к хантыйской семье. Матерью Детей движет желание спасти потомство, но в ней самой нет зла. Мир северных народов в полной мере реализует потенциал возможной идеализации этнического¹⁹: в нем глубокое понимание законов жизни, знание правил общения миров (Нижнего, Среднего и Верхнего), необходимая духовная прочность. Мать Детей кровным родством соединена со всеми обитателями мира тундры: с всевидящим «милым огнем», звездой Утренней Зари, с мерзлой Землей — последним прибежищем убиенных. Участь хозяев-людей разделяют олени (братья-быки Угольный и Молочный) и псы (старый Пойтэк и рыжий Хвост Крючком). С «сожженным сердцем», в разоренном и плачущем чуме героиня продолжает собирать, связывать, устраивать и налаживать «тоненькую нить жизни» (Айпин 2010: 25). Мир красных нарушает законы мироздания: у них «вожаки», «главари», «ненавистные захватчики», привычная тактика которых — пленных добить, стадо угнать, нарты порубить, провиант сожрать. Прибирая стоянку после пребывания красных, Мать Детей приводит в порядок само мироздание: засыпает снегом пролитую кровь и нечистоты, которые оставляет за собой «собачье войско».

Айпин, позиционируя роман как «невыведенную прежде правду» и поместив героев-протагонистов в поэтическое поле несокрушимых коллективных ценностей²⁰, вносит в ряды их врагов незначительные, но небезынтересные для интерпретации изменения. Так, командир отряда в романе носит фамилию Чухновский («плосколицый здоровяк из уральских пролетариев»²¹, ученик

¹⁷ Автор открыто любит коренными обитателями тундры: умирающие, раненые, плененные — все они красивы идеальной красотой. История погибшей ненки раскрывает и красоту внутреннего мира бесстрашных, преданных семье казымских женщин (Айпин 2010: 35). Тонкие черты лица, хрупкие фигуры, недюжинная сила духа и решительность, — Айпин воспроизводит в прозе иконописную традицию в интонации погребального плача по соплеменникам. Неслучайно лики царской семьи на иконе белого офицера наделены сходством с членами приютившей его семьи.

¹⁸ Проблема права на преувеличение и домысел в романе, претендующем на документальность, активно обсуждается в интернет-пространстве. Мнения располагаются на шкале от «Может, он сгущает краски — не знаю. Но даже если так, ему, остяку, это простительно» (<https://www.livelib.ru/book/1000437356-bozhya-mater-v-krovavuh-snegah-eremej-ajpin>) до резко критических отзывов о стереотипизированном литературном мире романа: «В конце книжки приведены протоколы реальных допросов мятежных остяков. Очень нелишняя деталь. Оказывается, многое из описанного в романе — правда. Но и подлинные документы не делают достоверной литературную реальность, утонувшую в кровавых снегах» (Цыбульский 2010).

¹⁹ Десятки литературоведческих работ по мифо- и этнопоэтике прозы Е. Айпина говорят о том, что именно эта сторона его творчества привлекает внимание филологов (см. статьи и монографии О. К. Лагуновой, Е. В. Косинцевой, В. Л. Сязи, Л. П. Миляховой, Ю. А. Цимбаловой, С. А. Исаковой и др.).

²⁰ По Айпину, в памяти тундровиков события на Нумто — это война, решение о которой принято на сходе в верховьях Казыма, где собрались представители более 80 хантыйских, ненецких и мансийских родов, что сохраняется и в семейной памяти северян.

²¹ «Здоровяком» (правда, не из уральских пролетариев) был и член отряда ОГПУ И. Шишлин, дневник которого был сохранен родственниками (Агеев 2005). Вообще если Бударин чаще прибегает к тактике умолчаний, то Айпин, создавая иллюзию документальности, чаще умножает количество непроясненных версий. Одна из таковых — о «судье с бритой головой» (подробнее см.: Айпин 2010: 121, 248–250; Агеев 2005: 40–41). О командире отряда ОГПУ — Булатове — умалчивают оба автора.

Тухачевского, с особым рвением подавлявшего крестьянские восстания). Вероятнее всего, Чухновский — образ собирательный, хотя Айпин приводит сведения о нем как о реальной персоне²². Однако выбранная Айпиным фамилия многозначна в контексте эпохи и романа: это и «рука судьи Чудновского», и постколониальный перифраз «чухонцев», и размежевание с советским, где Чухновский — летчик-герой, в 1929 г. спасший во льдах экспедицию Нобиле. Образ «легкокрылого биплана», символизирующего в очерках Бударина технический прогресс и новый мир, у Айпина сохраняет стержневую позицию, но получает противоположную трактовку: им управляет пилот, ради плана и удовольствия сбрасывающий бомбы на все живое.

Именно «красные» у Айпина находятся во власти исторического фатума, чей приговор прощески озвучивает ограбленный ими дед Молданов: «Свою пулю ты получишь от красных, от своих» (Айпин 2010: 98). Вообще иллюзия целостности художественного мира романа периодически размыкается автором ради подтверждения отложенного торжества справедливости в отношении своих героев (что имеет переклички с антиисторизмом очерков Бударина).

Роман насыщен мифологическими проекциями: Мать кормит своей кровью голодного сына, вспоминая птицу Карс из сказаний, поедающую плоть своего всадника; обедающий Чухновский напоминает Мэнква — злобного людоеда, получеловека-полузверя. Если мир метафорики Бударина ограничен земным, от хищных зверей до передовой техники, то мифологические проекции Айпина пронизывают все уровни мироздания: дети и волчата равно становятся жертвами летчика-убийцы, а Мать сопоставляется не только с искалеченной волчицей, потерявшей детенышей, но прежде всего с Богородицею, дающей ей утешение и волю к жизни и принявшей в себя пулю «красного вожака», предназначенную остячке (речь идет о начальном эпизоде романа, когда Чухновский со зла стреляет в чуме по иконе Богородицы — семейной реликвии, осуществляющей связь поколений семьи). На стороне сильной, выносливой, любящей и умелой Матери оказывается вся тундра, где едины все: от волков и оленей до христианских покровителей семейства, имена которых носят Мать, Отец и их дети (хотя имя самой матери в крещении мы узнаем лишь из разговора ее с белым офицером). Таким образом, красные есть воплощенное зло, а значит, противостояние сил сущностно и неотменимо (как и у Бударина).

Композиционно роман строится как чередование глав о бегстве-спасении остяцкого семейства и глав, повествующих о движении карательного отряда Чухновского, чьи следы расправ обнаруживает Мать. Воспоминания Матери (они выделены другим шрифтом и образуют особую сюжетную линию) обращены к образу спасенного остяками *белого офицера*. Разговоры офицера с Хозяином чума и его раздумья о судьбах России становятся публицистическим изложением историософских взглядов автора, мифологизирующего историческое прошлое России²³. Все сильные позиции бесед с «узорчатоглазым» принадлежат северянам: идет ли речь о причинах Гражданской войны («Вы, русские, друг друга не жалеете... Поэтому вам плохо. А не жалеете вы друг друга потому, что вас много» [Айпин 2010: 130]), о различиях между русскими и остяками («Наша земля огромна и хороша тем, что мы здесь бережем жизнь любого человека. И русский, попадая сюда, становится малым народом. Поэтому и жизнь его становится бесценной и мы его оберегаем так же, как и остяка. Белый Человек молча слушал. Очевидно, ему нечего было возразить» [Айпин 2010: 138]), о богатырском прошлом угорских народов (Айпин 2010: 146–148). Выводы русского офицера незатейливы: «Свой народ он хорошо знал. Русский не может жить без царя в голове и без Бога в душе: в нем просыпаются самые низменные страсти, он становится

²² Так, у Айпина сказано, что Чухновский будет расстрелян в Екатеринбурге в 1937 г. по решению тройки Управления НКВД СССР по Уральской области. Но в 1937 г. Екатеринбург именуется уже Свердловском, а Чудновский расстрелян в 1937 г. в Москве (Айпин 2010: 99).

²³ Формулировку функциональной необходимости подобной фигуры Айпин передоверяет герою: «Чухновский понимал: если бы полковника не было, то его бы придумали. Ибо местные руководители-большевики и партийные агитаторы-пропагандисты всегда подчеркивали: советская власть — это народная власть. Стало быть, народ должен любить эту власть» (Айпин 2010: 66–67). Характерно, что укрытие руководителя восстания, полковника Генштаба царской армии, находится «в глубине лесов, в верховьях остяцких рек» (Айпин 2010: 65), в точности повторяя локацию кулаков Дрикисов у Бударина.

разбойником, бандитом, вором, начинает все крушить на своем пути и в конце концов уничтожает самого себя» (Айпин 2010: 107).

Более интересным видится женский способ взаимодействия с миром: хозяйка дома грезит о белых обережных одеждах для царицы и ее дочерей, каждую из которых наделяет подходящим традиционным хантыйским узором (Айпин 2010: 136–137). Поскольку в романе русский выступает в роли пророка грядущих мук приютившей его семье, эти одежды имеют и самопроективный смысл для хозяйки²⁴. Вообще система взаимных проекций и предсказаний развита в романе Айпина²⁵, что подчеркивает взаимную связанность героев, но и формирует образ российской истории как герметичной, цикличной, предсказуемой, т. е. транслирует установки мифологического, а не исторического сознания.

Заканчивается роман Айпина описанием «улова» Чухновского и искалеченных судеб северян: жертвами клятвоступления красных, в частности, становятся отец и сыновья Спиридоновы. Опубликованные в приложении к роману Айпина фрагменты следственных дел призваны убедить читателя в документальной подлинности описанного. Выдержки из следственного дела № 2/49 «О к.-р. вооруженном восстании против Советской власти туземцев Казымской тундры» по ст. 58, п. 2 УК РСФСР, начатого 1 февраля и оконченного 10 июня 1934 г., подобраны таким образом, что создают иллюзию следования Айпиным стандартам исторической документалистики, однако приведенный выше анализ романа убеждает в его художественно-публицистической природе, создающей своеобразную «близнечную версию» по отношению к позднесоветскому нарративу о восстании.

Фильмы О. Фесенко («Красный лед. Сага о хантах», 2009) и А. Федорченко («Ангелы революции», 2014) при всем различии их художественных достоинств обращаются к восстанию лишь как к антуражу своих центральных сюжетов, наследуя традиции использования истории как декорации «вечных» сюжетов, ведь события на Нумто в полной мере соответствуют запросу на экзотизацию эпохи. С нашей точки зрения, такие интерпретации важны, поскольку позволяют разнообразить способы публичного говорения о травматическом прошлом. Одним из режиссерских ресурсов становятся эго-документы эпохи (взгляд этнолога на эти фильмы см.: Первалова 2018).

ВОСПОМИНАНИЯ ВДОВЫ:

«ТЫСЯЧИ ВОПРОСОВ... СВЕРЛЯТ МОЙ МОЗГ И ОПУСТОШАЮТ ДУШУ»²⁶

Исследовательский потенциал эго-документов, на наш взгляд, выше, нежели художественных интерпретаций, поскольку даже крайне немногочисленные эго-документы эпохи позволяют выйти за пределы обозначенной биполярной зеркальной схемы, не в силу большей своей объективности, но в силу меньшего воздействия спрямляющей автобиографической ретроспекции.

Обратимся к воспоминаниям вдовы убитого на Нумто П. В. Астраханцева, Лидии Николаевны Астраханцевой, написанным через четыре месяца после похорон, т. е. летом 1934 г., вероятнее всего, либо в ходе, либо после открытого судебного процесса над повстанцами. Мы относим этот текст к эго-документам, поскольку главной целью его создания была фиксация максимально подробного рассказа о случившемся, с обозначением мучительных вопросов и неясностей — перед нами документ эпохи с выраженным субъективным началом. Обозначенный автором адресат —

²⁴ Белый офицер пишет иконы государя и членов его семейства, схожих с ликами приютивших его остяков. «Мать Детей была поражена и встревожена тем, что в иконах, писанных то ли острием ножа, то ли отваром травы, то ли кровью, проступали образы ее милых детей — и дочерей, и сыновей. В облике же государя просматривались черты и характер Отца Детей, а в государыне — линии ее собственного лица. Почему так получилось? Неужели и ее семью, ее близких ждет мученическая смерть?!» (Айпин 2010: 117).

²⁵ Как дед Молданов предсказывает конец Чухновского, так белый офицер видит зависимость судеб русских и казымцев, считая расстрел царской семьи началом этической катастрофы: «Пока русским будет плохо, вам нечего ждать хорошего. Разве красные пощадят вас, если своих не пожалели?» (Айпин 2010: 125). Авторские рассуждения о том, как можно было избежать катастрофы, сохранив русскую армию, веру и Отечество, см.: (Айпин 2010: 215–216).

²⁶ Точная цитата из воспоминаний Л. Н. Астраханцевой выглядит так: «Я хочу записать все события последних трех месяцев, которые тысячами всяких вопросов, представлений сверлят так мой мозг и опустошают душу, совсем опустошают душу» (Астраханцева 1934: 1).

дочери, которые на момент написания текста не знали о смерти отца, но «когда-нибудь... захотят узнать, что стало с их отцом, отчего он погиб и каким он был» (Астраханцева 1934: 1). Воспоминания Астраханцевой были сохранены в семейном архиве и переданы третьим поколением потомков березовским архивистам.

Так как главный исследовательский вопрос для нас заключается в анализе тех нарративных и художественных средств, с помощью которых создается и транслируется коллективная (культурная) память о событии, вполне возможным и даже необходимым становится сопоставление индивидуальных версий событий с «голосами сообществ».

Как мы убедились, официальный нарратив восстания целиком написан мужчинами и о мужчинах: женщины появляются в нем однократно и единично, а дети участвуют лишь в качестве «похищаемых» (в интернат или обратно в чумы). Между тем на фотографиях траурной церемонии в Березовском клубе мы видим множество безымянных женщин и детей (Сафаров 2016), и в этом отношении рассказ Астраханцевой восполняет лакуну «женских текстов» со стороны «победителей».

Текст Астраханцевой написан в ситуации кризиса доверия к будущему и к себе самой в нем («Сумею ли я тогда рассказать им все так ясно и подробно, как знаю это сейчас?») [Астраханцева 1934: 1]). Возможно, Астраханцева имеет в виду не только опасения, связанные с естественной работой памяти-забвения. Ее повествование полно датами и деталями, оно стройно и логично²⁷, признаков внутренней цензуры не видно, однако автор не скрывает растерянности. В поворотных точках нарратива изложение дважды прерывается восклицаниями. Первое из них — «Какая ирония!» — комментарий к спешке четы Астраханцевых по возвращении в Березово: «Петр скучал и беспокоился о ребятишках. Какая ирония! Спешить, недоиспользовать отпуск, ехать скорей к семье, чтобы взглянуть на все мельком, потрепать на ходу детей, улыбнуться какому-нибудь успеху, проявленному ребенком, и уйти, с головой уйти в работу... зарыться в газеты, книги — дел накопилось много» (Астраханцева 1934: 1).

Уже через день после прибытия Петру Астраханцеву становится известно о необходимости поездки в Казым через трое суток, 26 октября. Ретроспективно Лидия Николаевна описывает свои чувства перед разлукой как непонятную ей «смутную тревогу» и «нервность». Однако в воспоминаниях старается сохранять объективность изложения и следующие две страницы посвящает ситуации на Казымской культгазе, условия работы на которой она знала по своему опыту 1930–1931 гг. Астраханцева связывает изменившееся «спокойное настроение туземцев» и их отказ от прежнего «безоговорочного выполнения необходимых работ по строительству» (Астраханцева 1934: 2) с действиями заведующего культгазой Бабкина, в «партизанском» запале поддержавшем некомпетентные действия Окрисполкома. Для сбора детей в школу применялись «штрафы» в виде изъятия оружия, и даже был разыгран обманный «спектакль»: «Для того чтобы произвести на туземцев большее впечатление, посылался вслед за бригадами нарочный, вручавший на собрании туземцев якобы только что полученное постановление об обязательном обучении детей ханты в школе. Это произвело должное впечатление, и в скором времени с воем, плачем, как детей, так и матерей, ханты стали подвозить детей в школу» (Астраханцева 1934: 2). Отметим, что «мерой вещей» здесь и в отношении «туземцев» у Астраханцевой остаются понятные ей самой семейные ценности. Создавая текст из постпозиции, потеряв в результате развития конфликта мужа, пережив несколько месяцев неизвестности о его судьбе, в трактовке причин событий она удерживается в поле межличностной, внеидеологической каузальности.

Нарастающее недовольство тундровиков, по свидетельству Астраханцевой, было задавлено страхом перед тем же Бабкиным, в котором они чувствовали «крепкий административный кулак» (Астраханцева 1934: 3). Лишь во время отъезда заведующего северяне поторопились предъявить свои требования: «Туземцы в большом количестве нагрянули на базу, разобрали детей из школы,

²⁷ К сожалению, рукописный вариант воспоминаний нам неизвестен. Косвенной причиной стройности изложения событий может служить присутствие вдовы на открытом судебном процессе.

потребовали переизбрать совет, восстановить в правах шаманов и грозили сжечь базу» (Астраханцева 1934: 3). Разговор с позиции силы сменился переизбранием Казымского тузсовета и растерянностью: «В то время, когда нужна была огромная разъяснительная работа среди туземцев, сотрудниками базы овладела паника, боязнь делать выезды в юрты и вообще близко соприкасаться с туземцами» (Астраханцева 1934: 3). Таким образом, в свидетельстве современника ни та ни другая сторона не выглядят безупречной, а основная вина возлагается на конкретных исполнителей, злоупотребивших властью и ситуацией.

«Облов» священного озера у Астраханцевой назван второй проблемой, легкой на конфликтную почву. Переговорную продуктивность первых трех бригад, выехавших в район Нумто, Астраханцева оценивает как крайне низкую (а в некоторых случаях явно лишь декларативную): первая бригада готовилась к обороне, но, не дождавшись самоедов, вернулась на базу, вторая бригада «выходила немало по болотам, заблудилась в лесу, но с самоедами не связалась», третья бригада «с самоедами не связалась, но по возвращении заверила, что настроение туземцев вполне мирное» (Астраханцева 1934: 3). На этом фоне решение послать «для урегулирования вопросов с самоедами авторитетную бригаду на более продолжительный период» выглядит разумным и направленным на смягчение напряженности. Бригаду формируют из Астраханцева, Смирнова, Шнейдер, Посохова, Нестерова, «молодых активистов» переводчиков Никиты Каксина и Лозямова, а также представителей тузсовета Спиридонова и Егора Каксина, которых Астраханцева описывает достаточно подробно (Астраханцева 1934: 4).

Последнюю телеграмму от мужа Астраханцева получает через нарочного 4 декабря: «Приехал Нум-то 26 (вероятно, «ноября». — *Н. Г.*) совершенно здоров (до отъезда на базу он тяжело болел ангиной. — *Н. Г.*), привет, целую, Петр» (Астраханцева 1934: 4). На этом какая-либо ясность для Астраханцевой заканчивается, и вся вторая половина воспоминаний состоит из описаний ее мучительных попыток узнать что-либо о судьбе мужа «на огромном напряжении нервной системы», поскольку уже через две недели поползли слухи о том, что бригада оказалась в заложниках у самоедов. «Я металась от одного учреждения к другому. Я спрашивала, что случилось и верны ли эти слухи, в РИКе, райкоме, в отделе ОГПУ, но везде получала ответ, что это вздорные слухи, что, правда, на Казыме не совсем спокойно и туда посланы люди для массовой работы, но что скоро все вернутся и в том числе и Петр» (Астраханцева 1934: 4).

Воспоминания Астраханцевой воссоздают картину ее одиночества, а также применявшихся по отношению к ней практик фальсификации документов: в декабре ей предъявили две телеграммы «от мужа», внушивших ей подозрения в подлинности, однако вынуждавших приостановить собственные поиски. Таким образом, обманы, подлоги и «спектакли» оказываются «обоюдострыми», обращенными и на «своих», а жены «победителей» (включая руководящий состав) оказывались в уязвимой, хотя и не содержащей прямой опасности для жизни, позиции. Более того, воспоминания Астраханцевой со всей очевидностью показывают, равно как и дневник оперуполномоченного И. Шишлина, что история переговоров уже в самом процессе не была свободна от фальсификаций и злоупотреблений. В результате только собственная активность Астраханцевой (несмотря на постоянное взаимодействие с Чудновским и Булатовым) — выезд на культбазу из Березова — позволила ей узнать «жуткие подробности» гибели бригады (Астраханцева 1934: 5). В отличие от технической легкости коммуникации у Бударина и глухой стены непонимания у Айпина, в воспоминаниях Астраханцевой информация медленно, с большим трудом преодолевает северные расстояния: последняя бригада с ультиматумом была послана к самоедам 9 января и вернулась лишь через месяц, как оказалось позже, с ложными известиями²⁸. Надежда на возвращение переговорщиков живыми оставалась до середины февраля, и при-

²⁸ «Бригада проездила 27 дней, вернулась с пустыми руками, но заверила еще раз, что хотя они пленных и не видели, но узнали, что они все живы, что самоеды и остяки разделились: Астраханцев, Смирнов, Шнейдер, Посохов и Нестеров находятся у самоедов, и Лозямов, Каксин и Белозеров — у остяков, что самоеды и остяки стоят на своих требованиях, но воевать не хотят, отпочковали довольно далеко, так, вперед, якобы делегаты ехали 13 дней, обратно 9 дней и на месте пробыли 4 дня» (Астраханцева 1934: 5).

сутствующая в Казыме Астраханцева довольно точно описывает ход операции ОГПУ с вылетами, разведками, захватом «разведчиков» (Астраханцева 1934: 6–7), удостоверяя таким образом, что практика обмена заложниками обеими сторонами применялась как регулярная и единственно действенная.

Несмотря на подчеркнутую фактографичность воспоминаний Астраханцевой, ее ситуация вызывает живое сопереживание читателя, поскольку даже тогда, когда судьба заложников становится известна ОГПУ, ее оставляют в неведении, вновь прибегая к ложно обнадеживающим фальсификатам: 23 февраля, через пару дней после разговора с Чудновским, она получила телеграмму из Березово («Райком получил известие из Самарово, что Петра Васильевича везут раненым, выезжай немедленно») и через два часа уже выехала домой, «с тяжелым чувством, что эта телеграмма подготовляющая, что на самом деле Петр убит» (Астраханцева 1934: 8).

По приезду в Березово счет идет буквально по часам (здесь находится второй эмоциональный всплеск рассказа, отмеченный восклицательным знаком) «В Березово приехала в час ночи на 25 февраля, немедленно пошла в отдел ОГПУ и узнала то, что уже знала в силу предчувствия за дорогу от базы до Березова. Страшные, чудовищные подробности! Оказалось, что 18 февраля²⁹ отряд Булатова встретил самоедов, последние оказали вооруженное сопротивление, и несмотря на хорошее вооружение отряда (винтовки, пулеметы, бомбы), сражение продолжалось 40 минут. В результате, несмотря на количественное преобладание, самоеды были взяты. Потери со стороны отряда русских 3 человека и один ранен, со стороны самоедов — 9–10 человек. Захватив самоедов, русские потребовали сказать, где бригада. Тогда самоеды рассказали, что пять русских давно уже убиты» (Астраханцева 1934: 8). Далее Астраханцева описывает убийство пленников после декабрьского «шаманства»: «Всех пленников вывезли на озеро Нум-то, накинули на шею веревки, привязали к оленям, оленей погнали и таким образом задушили всех. После чего задушенных скальпировали, а у Шнейдер вырезали груди» (Астраханцева 1934: 8). О скальпировании в эго-документах и очерках более не упоминает никто. Воспоминания Астраханцевой заканчиваются описанием судьбы арестованных 60 человек, списком приговоренных к высшей мере наказания и датой похорон погибших. Здесь ее отчет включает цитаты из судебных материалов: одиннадцать человек «подали кассацию, и расстрел был заменен тюремным заключением на 20 лет. Вскоре большинство из них умерли, так как они не переносят тюремное заключение»³⁰, девять человек были оправданы (Астраханцева 1934: 8).

Воспоминания Астраханцевой — женщины, лично заинтересованной в ходе розыска заложников (эго-документы других родственников членов делегации нам неизвестны) — наглядный пример активности и уязвимости женщин «русской/советской» стороны, вовсе не ощущающих себя в этом случае стороной власти, но только потерпевшими, пожинающими последствия чьих-то непродуманных действий и решений. Воспоминания, написанные «для будущего» внутрисемейного употребления, уже носят ярко выраженные следы влияния официальной версии событий, поскольку коррекция, фильтрация, искажения информации осуществляется акторами процесса сразу же, формируя картину, где в шаговой доступности от информации человек оказывается способен зафиксировать только собственные действия, будучи оставлен в неведении либо дезинформирован непосредственными руководителями операции (в первую очередь, очевидно, С. Чудновским). Сила свидетельства Астраханцевой — в способности без цензуры зафиксировать аналогичные процессы по отношению к обеим сторонам, а также устоять против столь естественной в ее ситуации жажды мести, запечатленной в дневниках ее современников по Березову и Казыму — Б. Степанова и И. Шишлина.

²⁹ Согласно дневнику И. Шишлина, перестрелка произошла в другие числа, однако трудно сказать, подводит ли Астраханцеву память или это начали работу механизмы «коррекции памяти», заставляющие сотрудников ОГПУ «заметать следы», маскируя собственную оплошность, приведшую к жертвам среди своих (Агеев 2005: 60–61).

³⁰ Такова официальная версия, которую повторяет Астраханцева; следовательно, из 11 «зачинщиков» восстания большинство не прожили более трех месяцев — времени создания текста Астраханцевой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, на сегодняшний день коллективная культурная память о Казымском восстании включает в себя эго-документы (дневники и воспоминания), устные и письменные тексты семейной истории, художественно-публицистические тексты и кинематографические версии разных десятилетий. Память о травматических событиях формируется в социальных полях, для которых характерна крайне неравномерная доступность публичной истории. В проведенном исследовании удалось показать следующее.

Во-первых, эго-документы, создаваемые участниками событий, уже на этапе создания содержат противоречивые версии случившегося, возникающие не только из ожидаемой субъективности, но и из направленной активности других участников/актеров. Анализ эго-документов личного характера показывает, что они создаются в насыщенном эмоциональном контексте, включающем оценки и элементы самоцензуры. Таким образом, сама по себе подлинность документа почти ничего не говорит нам о его достоверности без учета контекста создания.

Во-вторых, нарративы, претендующие на объемное освещение события в условиях неравномерной доступности ресурсов («монополию» на память), в обязательном порядке апеллируют к документальным источникам (устного и письменного характера), однако не реконструируют полноту события по ним, но подтверждают ими сложившиеся мифологизированные версии памяти. Умолчания официального нарратива в очерках сменяются «художественной вольностью» романа, на которую автор «имеет право» в силу своей этнической принадлежности. Однако, как показывают тексты, культурная память о восстании может быть бесконфликтно представлена лишь в рамках одной аксиологической системы. Парадоксальным образом, «правды» той и другой стороны эстетически и структурно одноприродны, но содержат диаметрально противоположное наполнение образов, напоминая миф о близнецах. Общие образы, которыми была богата реальность, переходя незримую границу, отражаются в «зазеркалье» противоположным образом. Особый интерес вызывают лакуны, не заполненные одной из сторон (как, например, убийство делегации — у Айпина и действия ОГПУ военного характера против мирного населения — у Бударина).

В-третьих, воспоминания очевидцев, фиксируемые в поле доминирующего официального нарратива, находятся под сильным его влиянием и содержат чаще всего фрагменты личной памяти, включенные в коллективно одобренную известную рамку.

В-четвертых, эго-документы 1930-х годов, в последние десятилетия ставшие доступные широкому кругу лиц, обладают высоким эвристическим потенциалом, поскольку содержат разнообразные «масштабы» событий (не только «интересы государства» и этномифологический универсум) и в значительной мере освобождены от спрямляющей ретроспективной схематизации. Став доступными, эти документы сегодня усиливают свое влияние как акторы процесса конструирования коллективной памяти. Именно документальные свидетельства дают художественным интерпретациям необходимую им «плоть и кровь». И вместе с тем фактура эго-документов настолько богата, что зачастую позволяет выйти за пределы двух антагонистических «правд» к многосоставному и объемному нарративу.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Астраханцева Л. Н. Воспоминания. 1934. Машинопись. 9 с. // Березовский историко-краеведческий музей. Воспоминания Астраханцевой БКМ-262.

[*Астраханцева Л. Н.*] Трагедия на озере Нум-то. Воспоминания Лидии Николаевны Астраханцевой. Публикацию подготовила И. Ю. Константинова // URL: <https://arhivugra.admhmao.ru/istoriya-yugry-v-arkhivnykh-dokumentakh/istoriya-berezovskogo-rayona-v-arkhivnykh-dokumentakh/tragediya-na-ozere-num-to-vozpominaniya-l-n-astrakhantsevoy/> (дата обращения: 06.02.2021).

Агеев С. С. Восстание в тундре // Уральская старина: литературно-краеведческие записки. Вып. 7. Екатеринбург: Баско, 2005. С. 10–66.

- Айпин Е. Д. Божья мать в кровавых снегах. СПб.: Амфора, 2010.
- Бударин М. Е. Были о сибирских чекистах. Омск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1968.
- Бударин М. Е. Были о чекистах. Омск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1976.
- Бударин М. Е. Чекисты: док.-худ. очерки. Омск: Западно-Сибирское кн. изд-во, 1987.
- Бычков С. П. М. Е. Бударин: ученый на перекрестке нескольких эпох. К проблеме исследования образа омского историка // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 4 (16). С. 207–212.
- Головнёв А. В. Казымское восстание // Головнёв А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. С. 165–178.
- Ерныхова О. Д. Казымский мятеж (об истории Казымского восстания 1933–1934 гг.). 2-е изд., доп. Ханты-Мансийск: ИЦЦ ЮГУ, 2010.
- Ерныхова О. Д. Устные рассказы жителей о разгроме Казымского восстания 1933–1934 гг. и его последствиях // Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. 25 ноября 2017 г. Ч. 3. Уфа: НИЦ АЭТЕРНА, 2017. С. 144–150.
- Ершов М. Ф. Литературный текст как историко-этнографический источник: по материалам произведений писателей Югры, Урала и Южной Сибири. Ханты-Мансийск: Сити-пресс, 2015.
- Каргаполов Е. П. Историк, профессор Омского государственного университета М. Е. Бударин и литературные процессы в Обь-Иртышском Севере // Каргаполов Е. П. Творчество писателей Обь-Иртышья: в 3 кн. Ханты-Мансийск, 2011. Кн. 2. С. 51–62.
- Леэте А. Казымская война: восстание хантов и лесных ненцев против советской власти. Тарту: б/и, 2004.
- Лимерова В. А., Литовская М. А. Своеобразие историко-революционного романа в коми литературе в 1930–1950-х гг. // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. № 4. С. 42–29.
- Нечаева А. А. Теоретико-методологические подходы к анализу коллективной памяти в мемори стадииз // Дискурс. 2020. № 6 (3). С. 46–63.
- «Память — это не вещь и не предмет. Память — это непрерывный процесс»: интервью с Дж. К. Оликом // Историческая экспертиза. 2018. № 4 (17). С. 11–21.
- Первалова Е. В. «Красная» колонизация Обского севера: революционные преобразования и этничность (1917–1930-е гг.) // Уральский исторический вестник. 2009. № 2 (23). С. 125–133.
- Первалова Е. В. Остяко-вогульские мятежи 1930-х гг.: были и мифы // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. № 1. С. 131–146.
- Первалова Е. В. Этничность и кино: ненцы, ханты и манси на экране // Кунсткамера. 2018. № 2. С. 184–192.
- Сафаров М. Ю. Казымский конфликт и не только: попытка исторического обзора объектов площади Победы в Березово // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. Вып. 14. Томск; Ханты-Мансийск, 2016. С. 144–156.
- Тимофеев Л. Г. Казымская трагедия // Югра. 1995. № 9. С. 32.
- Тимофеев Л. Г. Казымская трагедия. Тюмень: Александр, 2007.
- Цыбульский В. Кровью плакали сосульки. «Божья мать в кровавых слезах» Еремея Айпина // Газета. ru. 2010. 14 мая. URL: https://www.gazeta.ru/culture/2010/05/14/a_3368030.shtml (дата обращения: 06.02.2021).
- Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: НЛО, 2014.

REFERENCES

- Ageev S. S. Vosstanie v tundre [Uprising in the Tundra]. *Ural'skaia starina: literaturno-kraevedcheskie zapiski*. Issue 7. Ekaterinburg: Basko, 2005, pp. 10–66. (In Russian)
- Aipin E. D. *Bozh'ia mater' v krovavykh snegakh* [Mother of God in the Bloody Snow]. St. Petersburg: Amfora, 2010. (In Russian)
- Budarin M. E. *Byli o sibirskikh chekistakh* [Legends about Siberian Chekists]. Omsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1968. (In Russian)
- Budarin M. E. *Byli o chekistakh* [Legends about Chekists]. Omsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1976. (In Russian)
- Budarin M. E. *Chekisty* [Chekists]. Omsk: Zapadno-Sibirskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1987. (In Russian)
- Bychkov S. P. M. E. Budarin: uchenyi na perekrestke neskol'kikh epokh. K probleme issledovaniia obraza omskogo istorika [M. E. Budarin: A Scientist at the Crossroads of Several Eras. Towards the Problem of Studying the Image of the Omsk Historian]. *Vestnik Omskogo universiteta. Serii "Istoricheskie nauki"*, 2017, no 4 (16), pp. 207–212. (In Russian)

Golovnev A. V. Kazym'skoe vosstanie [Kazym Uprising]. Golovnev A. V. *Govoriashchie kul'tury: traditsii samodiitsev i ugrov*. Ekaterinburg: Ural'skoe otdelenie Rossiiskoi Akademii Nauk, 1995, pp. 165–178. (In Russian)

Ernykhova O. D. *Kazym'skii miatezh (Ob istorii Kazym'skogo vosstaniia 1933—1934 gg.)* [Kazym Rebellion (On the History of the Kazym Uprising 1933–1934)]. Khanty-Mansiisk: Informatsionno-Izdatel'skii Tsentri Yugorskogo gosudarstvenogo universiteta, 2010. (In Russian)

Ernykhova O. D. Ustnye rasskazy zhitelei o razgrome Kazym'skogo vosstaniia 1933–1934 gg. i ego posledstviakh [Oral Stories of Residents about the Defeat of the Kazym Uprising of 1933–1934 and Its Consequences]. *Traditsionnaia i innovatsionnaia nauka: istoriia, sovremennoe sostoianie, perspektivy. Sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 25 noiabria 2017 g.* [Traditional and Innovative Science: History, Current State, Prospects. Collection of Articles of the International Scientific and Practical Conference]. Pt. 3. Ufa: Nauchno-issledovatel'skii tsentr AETERNA, 2017, pp. 144–150. (In Russian)

Ershov M. F. *Literaturnyi tekst kak istoriko-etnograficheskii istochnik: po materialam proizvedenii pisatelei lugry, Urala i Iuzhnoi Sibiri* [Literary Text as a Historical and Ethnographic Source: According to the Materials of the Writers of Ugra, the Urals and Southern Siberia]. Khanty-Mansiisk: Siti-press, 2015. (In Russian)

Kargapolov E. P. Istorik, professor Omskogo gosudarstvennogo universiteta M. E. Budarin i literaturnye protsessy v Ob'-Irtyskom Severe [Historian and Professor of Omsk State University M. E. Budarin and the Literary Processes in the Ob-Irtys North]. *Kargapolov E. P. Tvorchestvo pisatelei Ob'-Irtys'ia: in 3 books*. Khanty-Mansiisk, 2011, book 2, pp. 51–62. (In Russian)

Leete A. *Kazym'skaia voina: vosstanie khantov i lesnykh nentsev protiv sovetskoi vlasti* [Kazym War: The Uprising of the Khanty and Forest Nenets against the Soviet Regime]. Tartu, without publishing house, 2004. (In Russian)

Limerova V. A., Litovskaia M. A. Svoeobrazie istoriko-revoliutsionnogo romana v komi literature v 1930–1950-kh gg. [The Originality of the Historical-Revolutionary Novel in Komi Literature in the 1930–1950s]. *Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy*, 2016, no 4, pp. 42–29. (In Russian)

Nechaeva A. A. Teoretiko-metodologicheskie podkhody k analizu kollektivnoi pamiaty v memory studies [Theoretical and Methodological Approaches to the Analysis of Collective Memory in Memory Studies]. *Diskurs*, 2020, no 6 (3), pp. 46–63. (In Russian)

“Pamiat' — eto ne veshch' i ne predmet. Pamiat' — eto nepreryvnyi protsess”. Interv'iu s J. K. Olick [Memory Is Not a Thing or an Object. Memory Is an Ongoing Process. Interview with Jeffrey K. Olick]. *Istoricheskaiia ekspertiza*, 2018, no 4 (17), pp. 11–21. (In Russian)

Perevalova E. V. “Krasnaia” kolonizatsiia Obskogo severa: revoliutsionnye preobrazovaniia i etnichnost' (1917–1930-e gg.) [“Red” Colonization of the Ob North: Revolutionary Transformations and Ethnicity (1917–1930)]. *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 2009, no 2 (23), pp. 125–133. (In Russian)

Perevalova E. V. Ostiako-vogul'skie miatezhi 1930-kh gg.: byli i mify [Ostyak-Vogul Revolts of the 1930s: Reality and Myths]. *Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniy*, 2016, no. 1, pp. 131–146. (In Russian)

Perevalova E. V. Etnichnost' i kino: nentsy, khanty i mansi na ekrane [Ethnicity and Cinema: the Nenets, Khanty and Mansi on the Screen]. *Kunstkamera*, 2018, no 2, pp. 184–192. (In Russian)

Safarov M. Yu. Kazym'skii konflikt i ne tol'ko: popytka istoricheskogo obzora ob'ektov ploshchadi Pobedy v Berezovo [Kazym Conflict and Beyond: an Attempt at a Historical Overview of the Projects of Victory Square in Berezovo]. *Khanty-Mansiiskii avtonomnyi okrug v zerkale proshlogo*. Vypusk 14. Tomsk; Khanty-Mansiisk, 2016, pp. 144–156. (In Russian)

Timofeev L. G. Kazym'skaia tragediia [Kazym Tragedy]. *Yugra*, 1995, no. 9, p. 32. (In Russian)

Timofeev L. G. *Kazym'skaia tragediia* [Kazym Tragedy]. Tyumen: Aleksandr, 2007. (In Russian)

Tsybul'skii V. Krov'iu plakali sosul'ki. “Bozh'ia mater' v krovavykh slezakh” Eremeia Aipina [Icicles were Crying in Blood. “Mother of God in Bloody Tears” by Eremey Aipin]. *Gazeta.ru*, 2010, 14 maia. URL: https://www.gazeta.ru/culture/2010/05/14/a_3368030.shtml (accessed: 06.02.2021). (In Russian)

Yurchak A. *Eto bylo navsegda, poka ne konchilos'.* *Poslednee sovetskoe pokolenie* [Everything Was Forever, until It Was No More: The Last Soviet Generation]. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2014. (In Russian)

Submitted: 24.01.2021

Accepted: 01.02.2021

Published: 01.04.2021